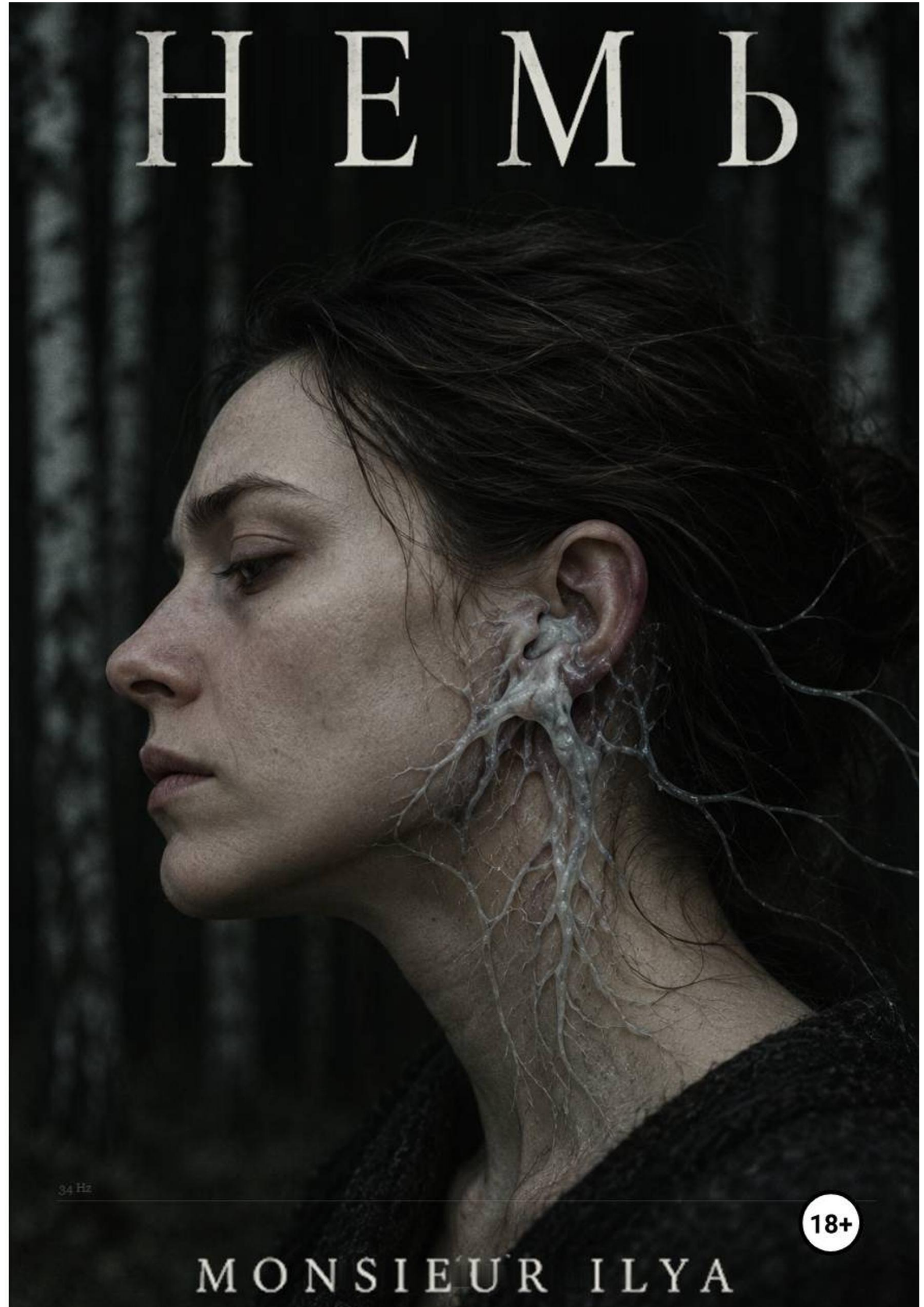
НЕМЬ



34 Hz

18+

MONSIEUR ILYA

НЕМЬ

Monsieur Ilya

НЕМЬ. Тот, кто ест голоса

«Автор»
2026

Ilya M.

НЕМЬ. Тот, кто ест голоса / M. Ilya — «Автор», 2026 — (НЕМЬ)

Звукорежиссёр Аня приезжает разобрать дом умершей матери. Дом стоит один на лесной поляне, и на четыре километра вокруг не поют птицы.Брат по телефону просит об одном: если услышишь мамин голос, не отвечай.Голос приходит в первую же ночь. Он звучит у Ани в челюсти и зовёт её Анечкой.В кладовке лежат тридцать две тетради, в которых мать тридцать лет вела какой-то счёт. Чему, Аня поймёт не сразу.За каждое слово, сказанное в темноту, у неё пропадает кусок слуха. А в подвале её давно ждут.

© Ilya M., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Дом, в котором не поют птицы 6
Глава 2. Голосовые 13
Глава 3. Овсяники 20
Глава 4. Как не мёрзнуть 27
Г 34
Конец ознакомительного фрагмента. 35

НЕМЬ. Тот, кто ест голоса

НЕМЬ

Monsieur Ilya

Есть такое место, где не поют птицы,
и там живёт тот, кто ест голоса,
и кто ему отзовётся, того он заберёт.
Из того, что рассказывают в Овсяниках

Глава 1. Дом, в котором не поют птицы

Руки на руле дрожали, и первые пару километров я валила это на дорогу, на гравий, на то, что с утра у меня во рту не было ничего, кроме кофе с заправки.

Дорога была ни при чём. Руки я держала на десяти и двух, как учил инструктор, которого мне оплатила мама. Я сдала с третьего раза, и она тогда сказала: «Анечка, ты же умная девочка, просто не слушаешь».

Слушать её я не стала ни тогда, ни потом, и в дом её теперь ехала одна, через месяц после похорон.

Мотор гудел на своих низких, гравий шуршал под днищем, в щели у стекла посвистывал ветер, и всё это было на местах, а поверх лежала дыра. Она сидела в том диапазоне, где я пятнадцать лет слышала живое, и меня от неё мутило мелко и с перебоями, как в лифте, когда трос идёт рывками.

Я убавила магнитолу, потом выключила совсем.

Стало хуже. В тишине салона я наконец расслышала, чего не хватает снаружи.

Птиц.

Не было ни одной. Июнь, три часа дня, подмосковный лес, где соловей в это время орёт так, что его слышно через стену аппаратной. Листва осталась и шелестела, глухо, ватно, и шелест обрывался раньше, чем должен был.

Телефон лежал на пассажирском, одна палка сети. Звонить надо было сейчас: в доме связи не будет. Мама ходила звонить за четыре километра, в деревню, и говорила оттуда: «Анечка, у меня тут тишина, мне хорошо».

Я говорила: мам, может, приедешь.

Она говорила: мне тут хорошо.

Было это три года назад. Потом звонки стали короче, потом я перестала звонить, потом позвонил Лёша и сказал: Ань, мама.

Два гудка. Три.

– Ань. Ты где?

Он говорил на одной ноте, ни разу не зайдя вверх. Тон этот я знала, сама им пользовалась с заказчиками на четвёртой переделке, когда держишь себя изнутри за горло, чтобы не заорать.

– Подъезжаю. Дом вижу. Лёш, у тебя сеть есть? Хочу, чтобы ты был на связи, пока я там.

В трубке он дышал, и на вдохе у него свистело. Курить он бросил давно, свист остался, и каждый раз мне хотелось сказать ему что-нибудь тёплое. Тёплого мы с Лёшей друг другу не говорили.

– Ань, послушай меня. Не ходи в подвал.

– Я приехала разобрать вещи и закрыть счета. Подвал мне не нужен.

– И не отзывайся.

Я сбавила. Гравий захрустел крупнее, и от хруста стало легче: звук есть, воздух работает, с птицами, значит, показалось.

– На что не отзываться?

Он молчал. Я считала паузу по привычке, к третьей секунде человек обычно уже решил молчать дальше.

– Если услышишь голос. Мамин. Не отвечай ему, не разговаривай. Не отзывайся.

За стеклом открылась поляна, и на поляне дом, одноэтажный, бревенчатый, с тёмной крышей. Я прислушивалась к нему через закрытое стекло, из машины с работающим мотором, с двадцати метров, знала, что отсюда ничего не услышишь, и всё равно прислушивалась.

– Лёш. Мама умерла месяц назад.

– Знаю.

– Мы её похоронили. Ты был. Мы вместе выбирали гроб, и ты сказал, что ручки пластиковые, а мама хотела бы деревянные. Я сказала, что маме всё равно. Ты на меня тогда посмотрел, будто я её второй раз убила.

– Знаю, Ань.

Он сглотнул, я услышала.

– У неё лицо было, – сказал он. – Тебе закрытый показывали, ты не видела. А я видел, когда приехал. Лицо у неё было, как у человека, который очень долго молчал и наконец перестал.

Метрах в двадцати от крыльца я остановилась и глушить мотор не стала. Кроме него, на всю поляну не звучало ничего.

– Сороковины в воскресенье, – сказала я. – Приедешь?

Он не ответил.

– Ясно. Помяну одна.

– Ань.

– Что.

– Ты только успей до воскресенья. – Это он выговорил одним куском, быстро, чтобы не сорваться на середине. – Разбери, что надо, забери документы и уезжай. До воскресенья. Слышишь?

– Почему до воскресенья?

– Просто уезжай.

– Лёш, ты издеваешься? Второй раз за месяц разговариваем, и оба раза с загадками.

– Продай дом, Ань. Разбери вещи, закрой счета, продай и не оглядывайся. Я туда не поеду. Не могу. Мне бабушка рассказывала.

– Что рассказывала?

– Про Мёртвую поляну.

– Лёш.

– Не ходи в подвал. Не отзывайся.

И короткие гудки.

Про того, кто ест голоса, он не договорил, и договаривать было не нужно.

Бабушка у нас была одна на двоих, и не мамина: мамина умерла, когда мне было три, и я её не помню совсем. Осталась баба Нина, отцова мать, она прожила до две тысячи одиннадцатого, мы оставались у неё на выходные всё детство, и рассказывала нам она. Она была из здешних мест, из-под Хвойного, и знала всё, что тут знают.

Мне было девять. Она говорила негромко, без всякого выражения, тем голосом, каким по радио читают прогноз погоды: есть такое место, где не поют птицы, и там живёт тот, кто ест голоса, и кто ему отзовётся, того он заберёт. Потом подтыкала мне одеяло и уходила, а я лежала и слушала, как в трубах шумит вода, и была счастлива, что она шумит.

Я держала трубку у уха ещё секунд восемь. Тишина в ней стояла плотная, с давлением, и волоски на руках у меня поднялись без всякого ветра.

Экран погас, значок сети мигнул и пропал. Я заглушила мотор.

Тогда стало по-настоящему тихо, и я наконец услышала дом.

Он не издавал ничего. Ни гула, ни скрипа, ни того дыхания, которое есть у любого жилого дома с холодильником и половицами. Дом был, и внутри у него ничего не работало.

* * *

Воздух был прохладнее, чем положено в июне, градуса на три, и ничем не пах.

Я постояла у машины и нарочно втянула носом, глубоко, два раза, проверяя, не тянет ли газом. Ни разогретой хвои, ни травы, ни прели из-под кустов, ни кисловатого духа старого дерева. В июне подмосковный лес пахнет так густо, что через полчаса нос забивается и пере-

стаёт замечать. Мой нос не забивался, разбирать ему было нечего, и на поляне пахло, как в квартире, из которой вынесли мебель и вымыли пол хлоркой.

До крыльца было метров двадцать, и я шла их долго. Трава стояла некошеная, по колено, цеплялась за джинсы, и кроссовки шуршали в ней сухо, по-августовски. Шуршание я слышала. Слышала свой шаг, левый чуть тяжелее правого, к вечеру у меня всегда так, и слышала, как дышу. Три звука, и я за них держалась.

Всё остальное убрали. На микшере это делается одним движением: дорожка была, ты слышал её секунду назад, и на её месте ничего, и комната вокруг оставшихся дорожек сразу звучит по-другому. Пятнадцать лет я делала это руками. Поляна звучала именно так.

Дверь стояла приоткрытая на ладонь. Из щели тянуло подполом, холодом снизу, от земли, и запах наконец появился: сырая глина, старая картошка, ржавое железо. Первый запах за двенадцать километров грунтовки, и я ему обрадовалась.

На крыльце я чуть не наступила на тапочку.

Одна, левая, тридцать восьмой, клетчатая фланель, на выцветшем коврике. Правой не было.

Фланель на носке протёрлась до основы, а по краю шёл двойной шов, которым мама подшивала всё, что начинало расходиться: выбросить вещь, которую можно подшить, у неё не поднималась рука. Шов этот я знала с детства. Им были подшиты мои варежки, школьный ранец и обивка табуретки, на которой я делала уроки.

Мама всегда носила обе. В больницу и то брала обе и говорила: «Анечка, а вдруг я встану».

Не встала.

Я обошла коврик по краю, чтобы не наступить, и вошла.

В сенях пахло пылью и старым деревом. Дальше кухня, из кухни коридор, из коридора её комната, весь дом на четыре шага.

Стол на кухне был накрыт на одного. Я обошла его медленно, кругом, ничего не трогая. Тарелка чистая, посередине, ободок с синими цветочками, из того сервиза, который был у нас всегда и от которого к концу осталось три предмета. Вилка лежала боком, отодвинутая от тарелки на сантиметр, и со стола после этого никто не убирал.

Клеёнка была та же, в квадратиках, и в углу, у самого края, я нашла пятно от зелёнки, которое посадила сама лет в одиннадцать и за которое мне тогда попало.

Под стаканом на клеёнке расползлось пятно с высохшим ободком. Пятно старое: ободок затвердел, соскоблить его можно было только ногтем.

Я тронула стакан пальцем и отдёрнула руку. Он был ледяной, из морозилки.

Месяц в этой кухне никто не жил, и всё в ней было или тёплое, или никакое, стакан холоднее всего, мой палец теплее всего. Я держала руку на весу и вытереть о джинсы не могла себя заставить. Потом всё-таки вытерла, хотя вытирать было нечего.

Часы над столом показывали без десяти девять, маятник не качался.

Дальше я сделала то, что всегда делала в любом помещении, куда захожу впервые. Хлопнула в ладоши.

Этому учат первым делом. Хлопок даёт короткий широкополосный импульс, комната отвечает хвостом, и по хвосту слышно всё: объём, высоту потолка, что на стенах, есть ли параллельные плоскости, будет ли порхающее эхо. Опытному хватает одного хлопка, чтобы понять, можно ли тут писать. Я хлопала в лифтах, в подъездах, в чужих квартирах и в переговорных, и меня за это не любили.

Кухня ответила неправильно.

Шесть на три с половиной, потолок два семьдесят, бревно, крашеный пол, печь в углу, одинарное стекло в окне. Такая комната даёт сухой короткий хвост с горбом на низкой середине и цокотом от параллельных стен. Эта дала хвост от комнаты вдвое меньше.

Хлопнула ещё раз, то же самое. Прошла в мамину комнату и хлопнула там. Комната была меньше кухни, а ответила длиннее.

Минуты три я соображала в коридоре. Хвост зависит от объёма и от того, чем облицовано: мягкое съедает, твёрдое возвращает. Если комната отвечает как меньшая, часть звука ушла и не вернулась. Ушла она вниз. Под кухней что-то съедало мой хлопок.

Тогда я объяснила это себе подполом, забитым тряпьём, и объяснение меня устроило минуты на две.

Потом я пошла в сени, хлопнула у самого люка и села на пол.

Сени не ответили ничем. Хлопок я слышала, ладонь о ладонь, и на нём всё кончалось: ни хвоста, ни отражения от стены в полутора метрах, ни от потолка над головой. Так звучала заглушённая камера, куда я студенткой ходила на экскурсию и откуда вышла через восемь минут, потому что затошнило. Заглушённую камеру строят год: клинья из стекловаты в полметра, развязанный пол, двойные двери. Здесь были доски, половик и старая вешалка.

В сенях я хлопала раз тридцать, наверное. Меняла место, приседала и вставала, хлопала над головой и у самого пола. Один раз хлопнула, стоя обеими ногами на люке, и доски под подошвами дрогнули, а звука не было вообще, ни хлопка, ни отзвука, и с этого раза мне стало нехорошо по-настоящему. Я отхлопала ладони до красноты, жгло их до запястий, и последних десяти хлопков не слышала.

На крыльце я хлопнула снаружи. Хлопок был обычный, летний, с коротким отскоком от стены дома. Шагнула обратно в сени, хлопнула. Ничего.

Граница шла по порогу.

Я вернулась на кухню. Холодильник в углу стоял с распахнутой дверцей, и я ждала, что компрессор щёлкнет и загудит, как в любой кухне, где есть еда и свет и кто-то живёт. Он не щёлкнул. Кран не капал, часы не тикали.

– Мам, – сказала я. – Ну и тишина у тебя тут. Ты этого хотела?

Голос из горла вышел, вибрацию я почувствовала в груди, в связках, в нёбе. Себя я не услышала. Ни слова, ни шороха: рот открыт, воздух проходит, связки работают, звука нет.

– Мам.

Ничего.

– Мама!

Это я заорала в потолок, до рези в горле. В ушах не появилось даже давления, которое всегда бывает от собственного крика.

Тогда я схватила со стола стакан и швырнула в стену. Он ударился о бревно и разлетелся, осколки ушли по полу веером, один отскочил от плинтуса и завертелся на месте. Ни удара, ни звона.

Голова пошла кругом, и я схватилась за спинку стула. Стул скрипнул ножками по половице, и скрип я услышала, тихий, короткий, где-то на двух килогерцах. Я села и потрогала горло. Горло было тёплое и работало. Скрип был, крика не было.

В кармане куртки пальцы нашли метроном. Латунь, грани, колесико. Мама привезла его мне в Москву позапрошлой осенью вместе с банками и носками, поставила на стол и сказала:

– Чтобы ты знала, где темп, Аня. В жизни тоже есть темп.

И ушла, не дождавшись ответа. Колесико я с тех пор крутила, когда нервничала, большим пальцем, вперёд и назад.

Металл холодил подушечки. В груди отпустило на палец, и вдохнуть получилось глубже.

«Ты приехала разобрать вещи. Закрыть счета. Уехать до воскресенья».

Я не стала его заводить, просто держала.

В коридоре на тумбочке стояла фотография: мама на фоне этого самого дома, седая, шестьдесят лет, щурится на солнце и улыбается. Мне она так не улыбалась ни разу.

Рядом лежала вторая, поменьше. На ней мне лет пять, я сижу у мамы на коленях, волосы у неё тёмные, и она смеётся. Смеха её я не помнила. За тридцать четыре года ни одного раза.

В висках заломило. Маленькую фотографию я положила лицом вниз.

В коридоре я щёлкнула выключателем, и свет не зажёгся. На кухонном подоконнике стояла керосиновая лампа с закопчённым стеклом, керосину в ней было на два пальца, и я её зажгла и понесла в мамину комнату.

Кровать заправлена, одеяло подоткнуто по краям по-больничному. Тумбочка пустая, только круглый след в пыли, сантиметров пятнадцать поперёк.

Я легла не раздеваясь. Кроссовки скинула на пол, куртку оставила, метроном в кармане, телефон рядом экраном вниз. Семьдесят три процента, сети нет, на ночь хватит. Лампу я поставила на табурет у кровати и гасить не стала.

Потолок был белёный, в трещинах, и трещины шли от люстры к углам. За окном темнело, и когда стемнело совсем, я не заметила: ни заката, ни сумерек, сперва серо, потом черно.

Тишина в комнате загустела, и на перепонки надавило изнутри, как в самолёте на взлёте, когда не успела сглотнуть. Я сглотнула, не прошло. Зевнула до хруста в челюсти, широко, некрасиво, тоже не прошло. Давление держалось без толчков и понемногу росло, и меня от него тянуло вниз, в матрас, медленно, чтобы я успела привыкнуть.

Я закрыла глаза, досчитала до пяти и услышала.

* * *

Голос пришёл снизу, из-под коренных, из кости, и пошёл вверх по скулам, к вискам. Я почувствовала его языком раньше, чем поняла, что слышу.

В двадцать шесть у меня расшаталась пломба, и я две недели водила по ней языком и не могла перестать, она была чужая и моя одновременно, и я ковыряла её, пока не расковыряла до нерва.

Между чужим ртом и моим ухом всегда есть метры воздуха. Их можно измерить, записать, положить на дорожку. Здесь воздуха не было, нести звук было нечему. Голос всё равно сидел у меня в скулах и вибрировал.

Доченька.

Одно слово, и узнала я его по форме, смысл дошёл потом. С этой формой она говорила «Анечка, поешь» и «Анечка, шапку надень»: тёплая, чуть хриплая на низах после чая с лимоном, и с удлинением на последнем слоге, которое было только у неё. В четырнадцать я его передразнивала, в восемнадцать меня от него выворачивало. Полтора года я его не слышала, и теперь оно сидело у меня в челюсти и тянуло вверх, к глазам.

Мне холодно. Иди ко мне.

Я стиснула зубы так, что заскрипело в висках. Голос не пропал и тише не стал, шёл без пауз, и каждый его заход я принимала нижней челюстью.

Ногти вошли в ладони. Саднило, и эта боль была моя.

Анечка. Не молчи. Мне так холодно.

Вибрация усилилась и перешла на нёбо, за верхние зубы, туда, где десна переходит в твёрдое. Из глаз потекло от давления, а в животе было холодно и очень спокойно. Слёзы уходили по вискам в волосы, и я их не вытирала.

Господи, как я хотела ответить.

Три года я не звонила. Три года она говорила «мне тут хорошо», а я говорила «хорошо, мам» и вешала трубку. Теперь она лежала в земле, а голос её сидел у меня в скулах и звал.

Я молчала.

Грудь стало давить изнутри, на руках встали волоски. Я открыла глаза.

Стена была в метре от кровати, белёная, с трещиной, которую я видела днём. Трещина стала шире на палец, потом на два, и из неё росло бледное и тонкое.

Оно вибрировало. Дрожь я видела глазами и в то же время чувствовала зубами, и от этого совпадения желудок подтянуло к горлу.

Отросток шёл из трещины по стене вверх, к потолку, потом вниз, ко мне.

Я вжалась в матрас и задержала воздух. Тело сообразило раньше головы, что двигаться нельзя: оно ищет того, кто отзовётся.

«Не шевелись. Оно на звук».

Он остановился в сантиметре от моего носа.

Вблизи он походил на связку: бледный, влажный, с продольными волокнами по всей длине, и в двух местах волокна перекручивались, затянутые не туда. По нему шла мелкая частая рябь, какая бывает на струне, которая держит ноту. Ноты я не слышала. На конце сидело утолщение с ноготь мизинца, тонкое до просвета, и внутри у него тоже что-то двигалось, слишком мелко, чтобы разглядеть.

Мембрана дрожала у моего лица, и все зубы у меня заныли разом, до корней.

Дальше было долго.

Воздух в груди кончился на первой минуте, дальше я держала уже саму себя. Грудь распирало, потом жгло, потом в ушах поднялся высокий звон, которого там не было, и до меня дошло, что он мой, изнутри, и скоро станет всем, что я слышу. Диафрагма дёргалась сама, короткими рывками, и каждый рывок я гасила животом. В глазах пошли пятна, сперва по краям, потом ближе к середине. Очень хотелось моргнуть, а веко это тоже движение, и я не знала, чем оно смотрит и смотрит ли вообще.

Я считала, я всегда считаю, у меня это вместо молитвы. Дошла до сорока и сбилась, начала заново и сбилась на двадцати восьми.

Между вторым разом и третьим в голове стало пусто и ясно, и в этой пустоте легла спокойная мысль, что сейчас я вдохну, и это будет последнее, что я сделаю, и ничего страшного.

Я не вдохнула.

Отросток втянулся в трещину, и стена стала белой.

Я слушала сердце в горле и в запястьях, и в стуке не было голоса, и от этого мне стало хуже, чем при нём.

Сколько я так пролежала, не знаю. Потом сползла с кровати на дальнюю от стены сторону, боком, на четвереньках, не сводя глаз с трещины, и вышла из комнаты задом. Дверь не закрыла: закрывать пришлось бы спиной к стене.

Кухню я помню плохо. Помню, что села на пол между печкой и столом, потому что там ни одна стена не подходила ко мне ближе метра, и что доски под линолеумом оказались теплее, чем я ждала.

Сидела, пока не затекли лопатки. Мир возвращался кусками и вразнобой: сперва холод линолеума в копчик, потом запах керосина, потом тряпка на гвозде у печки, серая, засохшая горбом, мама вешала на этот гвоздь полотенце. Слух вернулся последним. На площадке всегда так и было: когда на записи начинается брак, первым отваливается ухо, а руки продолжают работать сами. Я сидела на полу мёртвой кухни, считала пятна на потолке и ждала, когда ухо согласится включиться.

* * *

Я встала, держась за угол стола, ноги затекли и держали плохо. Про подвал я не думала, думала про дверь. Пошла босиком через коридор в сени, линолеум лип к подошвам, и шлёпанье своё я слышала и держалась за него.

Входная дверь была та самая, днём приоткрытая на ладонь. Я потянула на себя, она не пошла. Толкнула, тоже не пошла. Ручка провернулась вхолостую. Замок был открыт, косяк не перекосило, и дверь всё равно стояла, вросшая в коробку, одним с ней куском.

Я ударила в неё кулаком. Вибрация прошла по кости до локтя, удар отдался в плечо, в грудь, в зубы, а звука не было. Ударила ещё раз, всем весом. Ни стука, ни скрипа, ни низкого гула, который даёт любое дерево, если по нему бить.

Голова поплыла, я упёрлась лбом в косяк и постояла так, а потом пошла на кухню, к окну.

И наступила на осколок.

Он вошёл в пятку под самой подушечкой. Я села на пол, где шла, и вытащила его двумя пальцами, длинный, миллиметров восемь. Крови вышло много и сразу, чёрной в полутьме: свет из маминой комнаты сюда почти не доставал.

Тогда я и заплакала. Стакан этот я разбила сама час назад, потому что не удержала себя в руках, и теперь сидела в собственных осколках.

Я зажимала пятку ладонью и трясла головой, слёзы капали на джинсы, и ни одного своего всхлипа я не услышала.

Потом встала на пятку и пошла к окну, оставляя следы. Приложила ладонь к стеклу, холодному, тронула ржавую задвижку, и задвижка скрипнула, и скрип я услышала. На секунду стало легче.

Я ударила ладонью по стеклу. Стекло завибрировало, вибрация ушла в запястье и в кончики пальцев, и больше ничего. Ударила костяшками, сильнее, кость отдала в локоть. Стекло было целое, и била я его без единого звука.

За окном стояла чернота. В обычной ночи есть глубина, в ней различаешь деревья, а здесь не было ни деревьев, ни неба, ни края.

Я сползла по стене на пол, у самой двери в сени, обхватила колени. Пятка дёргала и марала линолеум, метроном давил в бок.

Я достала его и положила на ладонь. Шестьдесят ударов в минуту, сердце в покое. Моё сердце в покое не было. Метроном про это не знал.

Я завела.

Первый щелчок пришёл на самой границе слышимости, второй через секунду. Я считала щелчки и ждала утра.

До воскресенья оставалось шесть дней.

Глава 2. Голосовые

Утро не пришло. Пришло серое.

Я поняла это по тому, что чернота за окном посветлела на один тон, и от этого одного тона мне стало хуже. В черноте хотя бы ничего не было видно. В сером было видно всё, и всё стояло неподвижно.

Спала я сидя, привалившись к косяку. Колени хрустнули, спина не разогнулась с первого раза, и я постояла согнутая, упираясь ладонями в бёдра.

Лампа в маминой комнате догорела под утро, стекло закоптилось изнутри до черноты.

Пятка присохла к линолеуму. Я отодрала её и увидела на полу тёмный овал в ладонь величиной, и от него к раковине шли следы, штук пять, всё бледнее. Порез затянулся коркой, края разошлись белым.

Осколки лежали там же, где легли ночью, веером от плинтуса.

Под мойкой нашлись веник и совок. Веник шоркал по линолеуму, и шорох я слышала, тихий, шершавый. Я высыпала стекло в ведро, оно звякнуло, и звяканье я тоже услышала, коротко, на излёте.

На клеёнке осталось пятно с высохшим ободком. Стакана над ним больше не было, и пятно без стакана выглядело хуже, чем накануне.

Я открыла кран. Вода пошла сразу, тугая, и загудела в трубе. Я подставила ладони и пила прямо из-под крана, и вода была ледяная, до зубной боли, и от боли в зубах я вспомнила ночь, и зубы заныли сильнее.

Телефон лежал на полу у косяка. Шестьдесят один процент, значок сети перечёркнут.

Вторник. До воскресенья пять дней.

Я села за стол, на её стул, где в клеёнке продавлена вмятина от тридцати лет, и стала думать, что на поминки нужны блины и кутья, что до магазина в деревне четыре километра и что дверь не открывается.

На двери мысль и встала.

* * *

В сени я пошла проверить дверь при свете. Ночью я била вслепую, при одной лампе, на голом ужасе, а днём надо было посмотреть.

Дверь сидела в косяке как влитая. Я присела и провела пальцем по притвору снизу доверху. Щель шла миллиметра в полтора по всей высоте, без перекоса. Дерево не разбухло, полотно не повело, петли на месте, и все три смазаны, мама за домом следила.

Я нажала на ручку. Язычок вышел из планки, я его видела и чувствовала пальцем. Потянула, дверь не пошла.

Я взялась двумя руками, упёрлась ногой в косяк и тянула, пока не заломило поясницу. Полотно не дало ни миллиметра. Оно не дрожало, не пружинило, не отыгрывало назад. Дерево всегда хоть немного играет.

Пятнадцать лет меня учили, что у любого явления есть источник. Заедает дверь, ищи, где трёт. Гудит канал, ищи, где земля. Здесь искать было нечего, никакого механизма у этого не было.

Я бросила дверь и пошла по окнам. Их в доме шесть, и я проверила все. Задвижки скрипели, шпингалеты ходили, рамы сидели в четвертях мёртво. Стекло под ладонью отдавало вибрацию и не отдавало звука.

Последним было кухонное, у стола. Я приложилась к нему лбом, чтобы посмотреть вбок, на поляну. Машина стояла там, где я её оставила, метрах в двадцати от крыльца.

Водительская дверь была открыта настежь.

Я её закрывала. Я помнила, как нажала брелок и услышала писк, короткий, двойной, и этот писк был последним звуком, который дошёл до меня снаружи.

Теперь дверь была откинута до упора, а плафон в салоне не горел. Он загорается всегда, даже на севшем аккумуляторе, хотя бы вполнакала. Дверь открыта, и плафон не горел, и приборка не горела, и на панели не мигал ни один диод.

Лбом в стекло я простояла минуты три, потом отошла.

* * *

В телефоне были голосовые от мамы.

Три штуки, последние. Про них я знала с похорон, когда Лёша сказал: «Ань, у тебя же голосовые от неё остались». Я сказала «потом», и месяц это «потом» не наступало.

Я открыла мессенджер. Три полоски. Первая за полтора месяца до смерти, сорок три секунды. Вторая за две недели, минута двенадцать. Третья за шесть дней, девять секунд.

Палец лежал на экране, и стекло грелось под подушечкой, тёплое, единственное тёплое в этом доме.

Я нажала первую.

Мамин голос заполнил кухню, и я дёрнулась всем телом, хотя знала, что сейчас будет. Он был живой, записанный на микрофон телефона, с шорохом от трубки, которую держат слишком близко ко рту, и с тем удлинением на последнем слоге.

«Анечка, я тут подумала, может, ты приедешь на выходные, я бы пирог испекла, ты же любишь с яблоками. Я тут яблок набрала, в саду, мелкие, но сладкие. И вот я подумала, может, приедешь, посидели бы, ты бы мне рассказала, как у тебя. Я бы не мешала. Я бы просто слушала, ты же знаешь, я умею слушать».

Сорок три секунды, и ни в одной из них она не пожаловалась, ни на одиночество, ни на страх. Она предложила испечь пирог.

Я положила телефон экраном вниз и отошла к окну. За стеклом было серое, листва висела не шевелясь.

Желудок сводило и не отпускало, и я сказала в стекло:

– Пирог она испекла бы. Три года не звонила. Зато пирог.

Голос прозвучал, я услышала себя, и на слове «пирог» меня срезало. Хвост фразы ушёл вниз, так уходит дорожка, если дёрнуть фейдер посреди слова.

Вчера мой крик пропал целиком и сразу. Сегодня мне сначала дали говорить и забрали на середине.

Время я слушала пятнадцать лет и полсекунды чувствовала руками. Я сказала:

– Раз.

Слово держалось секунду с небольшим и осело.

– Раз.

Меньше. Заметно меньше.

Я включила на телефоне диктофон, поднесла ко рту и сказала в него всё, что помнила из таблицы умножения на семь. Потом нажала стоп и посмотрела на дорожку. Дорожка шла прямой линией от края до края, без единого всплеска. Микрофон не записал ничего.

Я стёрла файл и положила телефон на стол экраном вниз.

Вторая, за две недели, минута двенадцать.

«Анечка, я тут в подвал ходила. Там за стеллажом коробка стоит, помнишь, ты на кассеты записывала всякое, когда тебе было десять? И в двенадцать. Я послушала немножко. Ты там песни поёшь и с кем-то разговариваешь, я не разобрала, с кем. Может, тебе надо? Я бы отправила, но почта тут не работает, ты знаешь. Может, приедешь и заберёшь. И заодно посидим, ты расскажешь, как у тебя на работе. Я лезть не буду. Мне просто послушать, как ты рассказываешь. У тебя голос делается другой, когда ты про свои частоты говоришь. Я ничего не понимаю. Слушать всё равно нравится. Ты в этом живёшь. Я хочу, чтобы ты жила, Анечка».

Минута двенадцать про кассеты, про почту и про мою работу. Подвал в первой фразе, вскользь, между делом, и страха в этой фразе не было ни на грамм.

Она ходила в подвал.

Лёша сказал: не ходи в подвал. Баба Нина говорила: там живёт тот, кто ест голоса. А мама ходила туда, рылась за стеллажом, поднялась обратно и записала мне голосовое про кассеты.

У меня закружилась голова. Я взялась за край стола обеими руками и сидела так, пока не прошло. Прошло не сразу. Я смотрела на клеёнку, на квадратики, на пятно от зелёнки в углу, и считала квадратики от пятна до края, потому что надо было что-то считать. Их было девятнадцать. Я пересчитала в обратную сторону, вышло девятнадцать.

Потом до меня дошло целиком, низом живота, с опозданием, с каким нога доходит до тормоза, когда передняя машина уже встала.

Тридцать лет она жила в доме, под которым это лежит. Спускалась в подвал за картошкой, за банками, за коробкой с моими кассетами. Знала правило, знала цену, знала, что бывает с теми, кто отзовётся. И раз в две недели звонила мне из деревни, за четыре километра пешком, и говорила: «Анечка, у меня тут тишина, мне хорошо».

Я говорила: мам, может, приедешь.

Она говорила: мне тут хорошо.

И вешала трубку, и шла обратно четыре километра, и ложилась спать в этом доме.

«Она знала. Всё это время знала и молчала».

Я сунула руку в карман и нащупала метроном. Заводить не стала, держала, пока пальцы не занемели. Потом встала и пошла в сени.

Люк был справа от входной двери, под половиком. Я откинула половик ногой. Доски широкие, тёмные от времени, и в них утоплено заподлицо чугунное кольцо.

Я присела на корточки и взялась за кольцо. Чугун был холоднее пола и холоднее воздуха, и холод пошёл в ладонь и остановился в запястье.

Тянуть я не стала. Положила на доски всю руку, плашмя, и держала, пока не поймала.

Ниже слышимого, герц восемь или девять, на самой границе. Ухо такое уже не берёт. Тело берёт. Нота без биений и без затуханий, и на мотор не походила: мотор гуляет, ветер в трубе дышит. Эта держала свою частоту без единого сбоя, и держала, по всему, давно. В жилом доме такому взяться неоткуда, ни насос, ни компрессор так не умеют.

Ладонь начала неметь. Я убрала руку, вытерла о джинсы, и запястье ныло ещё с минуту.

Половик я вернула на место и придавила ногой по краям, чтобы лежал плотно.

«Не ходи в подвал. Я и не иду».

Пятка оставила на половике тёмный полукруг. Кровь пахла железом, и это было единственное, от чего в то утро шёл хоть какой-то запах, и я поймала себя на том, что нюхаю собственную ногу, сидя на половике в маминых сенях. От пореза шло тепло. Я подумала, что тёплое тут я, и подумала это спокойно, по-деловому, будто прикидывала длину кабеля.

* * *

Я решила заняться тем, зачем приехала. Разобрать вещи, закрыть счета, найти документы, сберкнижку, договор на дом. Дело простое, для рук, и пока руки заняты, голова помалкивает.

Шкаф в её комнате был двустворчатый, фанерованный под орех, из тех, что покупают раз в жизни. Дверца пошла с длинным сухим скрипом.

Одежда висела плотно, плечо к плечу. Два пальто, три кофты, юбки, которые она не носила лет пятнадцать. Я провела рукой по рукавам. Они ничем не пахли.

Одежда в шкафу пахнет всегда: нафталином, духами, порошком, человеком, на худой конец пылью. Я сунула нос в воротник её синей кофты и втянула воздух, и не почуяла ничего, кофта пахла меньше, чем пахнет новая вещь из упаковки.

Внизу, под юбками, стояла жестяная коробка из-под печенья, круглая, с оленями на крышке. Я вытащила её на кровать и открыла.

Паспорт, полис, СНИЛС. Домовая книга в мягком переплёте, синяя, с чернильной записью шестьдесят третьего года. Пачка квитанций, перетянутая аптечной резинкой. Сберкнижка на её имя, последняя операция в двадцать втором.

Я разложила всё это на одеяле по стопкам и почувствовала себя почти нормально. У бумаг есть порядок, и он успокаивает.

Под квитанциями лежали батарейки.

Мелкие, круглые, с чечевицу, в блистерах по шесть штук, с оранжевым ярлычком. Я взяла один блистер и повернула к свету. Тип триста двенадцать, воздушно-цинковые, для слуховых аппаратов.

Двадцать две упаковки. Девять вскрыты, и в трёх пусто до конца.

Я сидела на её кровати с этим блистером в руке и перебирала последние годы.

По телефону мама говорила нормально. Никогда не переспрашивала, никогда не просила говорить громче. И ни разу в жизни я не видела у неё ничего за ухом. На такие вещи я смотрю: у половины знакомых в цеху профессиональная потеря на верхах, и аппарат я замечаю раньше лица.

Я перерыла коробку до дна, потом полки шкафа, ящик тумбочки, полку в коридоре. Самого аппарата не было нигде. Только батарейки, купленные на годы вперёд, и половина из них уже потрачена.

Я сложила блистеры обратно, придавила квитанциями и закрыла крышку с оленями.

Телефона, с которого мама слала мне голосовые, в доме тоже не было. Ни в коробке, ни в тумбочке, ни в карманах её пальто, ни на полке у двери, где у людей лежат ключи. Зарядки не было, коробки от него не было. Кнопочный, старый, с треснутым углом экрана, я видела его у неё в последний приезд. Куда он делся, спросить мне было не у кого.

«Она слышала меня по телефону. Она всё слышала».

Руки у меня были холодные.

* * *

Третья, за шесть дней до смерти, девять секунд.

Над этой полоской палец висел долго. Не нажму сейчас, не нажму никогда и буду до старости гадать, что она хотела сказать.

Нажала.

«Анечка, я».

И тишина. Два слова и семь секунд её дыхания в микрофон.

Я прослушала ещё раз, потом ещё. На четвёртом разе я разобрала, что она тамделает. Она набирала воздух. Три раза набирала воздух, чтобы сказать, и три раза не сказала.

Слово я знала и знать не хотела. Прости.

Она его не сказала. Не успела, или не смогла, или знала, что, если скажет, я приеду, и не хотела, чтобы я приезжала.

Девять секунд я прослушала раз двадцать, а потом сделала то, что всегда делала с записью, которая мне важна: открыла её в редакторе. Редактор у меня в телефоне стоял нормальный, я в нём правила на выездах, работал он без интернета, и ему было всё равно, откуда файл.

Я перегнала голосовое из мессенджера и вывела на экран дорожку. Первые полторы секунды «Анечка, я», два коротких всплеска с провалом посередине. Дальше семь секунд дыхания, три горба, три попытки набрать воздух, и между ними низкий фон без движения. Всё, что я слышала.

Я переключилась на спектр.

Спектрограмма это картинка, где по горизонтали время, по вертикали частота, а яркость показывает, сколько там энергии. Человеческий голос на ней похож на расчёску: полосы обер-

тонов ступеньками вверх, с провалами на паузах. Её расчёска стояла где положено, от ста двадцати герц и выше.

А в самом низу, под всей её речью, шла тонкая линия.

Она не прерывалась. Шла все девять секунд, от первого кадра до последнего, не считаясь ни со словами, ни с паузами, ни с тем местом, где мама отняла телефон от лица. Прямая, без единого колена.

Я поставила курсор и посмотрела частоту. Тридцать четыре герца.

Такого не бывает по трём причинам, и я перебрала все три, сидя на маминой кухне с телефоном в руках. Сеть даёт наводку на пятидесяти, а тут не пятьдесят. Телефонный микрофон ниже семидесяти не берёт физически, там фильтр стоит в самом железе. А мессенджер жмёт голос кодеком, который срезает всё под восьмьюдесятью, потому что для речи это мусор и его выбрасывают ради трафика.

Микрофон не мог эту линию записать, кодек не мог пропустить, сеть не могла туда положить. Она была.

Я открыла второе голосовое. Та же линия. Первое, сорок три секунды. Та же. Тридцать четыре герца под всем, что она говорила, во всех трёх файлах, записанных в разные недели и, судя по шороху, на разном расстоянии от лица.

Тогда я ничего не поняла и решила, что это артефакт сжатия или что у неё в кармане что-то гудело. Даже придумала, что могло гудеть: холодильник у соседей, трактор за деревней, ЛЭП.

В блокноте я записала одну строку, потому что так меня учили: не понял, но записал.

«34 Гц во всех трёх. Микрофон не берёт. Проверить».

И сказала вслух, в кухню:

– Прости меня тоже, мам.

Фразу срезало на «мам». Я успела услышать «прости меня» и половину «тоже», и срезало быстрее, чем полчаса назад. Я замолчала и больше вслух не говорила.

* * *

Голос пришёл через кость, из-под коренных, вверх по скулам, к вискам. Телефон лежал на столе экраном вниз, и воздух на кухне стоял неподвижный. Я почувствовала его языком раньше, чем поняла.

Доченька.

Я стиснула зубы.

Мне холодно. Иди ко мне.

Вчера он шёл и обрывался. Сегодня он не кончался.

Я сидела на её стуле, вцепившись в край стола, и слушала, как в моей собственной челюсти говорит мама. Ладони были изрезаны ногтями ещё со вчера, и я вжимала ногти в те же места, и боль была правильная, своя.

Анечка. Ты же приехала. Я слышу, что ты приехала. Спустись ко мне, тут недалеко.

Похоже было, что он знает про голосовые и знает, что я услышала в тех семи секундах. «Мне холодно» било в то, что я всю жизнь её грела: тапки, плед, чай, шапку надень. «Спустись» било в три года, за которые я не приехала ни разу.

Я ненавидела этот голос и себя за то, что хочу ответить, а заодно маму, за то, что умерла и оставила меня с этим. Потом перестала ненавидеть маму. Потом начала опять.

Слёзы шли от давления. Я их не трогала, для этого пришлось бы отпустить стол.

И тогда я услышала звук, обычный, через воздух, через кухню. Тихий, на самой границе, такой, что три или четыре секунды я в нём не была уверена. Шёл он из коридора, из её комнаты.

Щелчок. Пауза примерно в секунду. Ещё щелчок.

Я встала. Ноги держали плохо, и я пошла на звук, и линолеум лип к подошвам, и порезанная пятка отзывалась на каждый шаг.

В коридоре на тумбочке лежала фотография, которую я вчера положила лицом вниз. Теперь она лежала лицом вверх, и мама на снимке смеялась, и мне было пять, и я сидела у неё на коленях.

Переворачивать её я не стала и пошла дальше.

Дверь в её комнату была открыта, как я её и оставила.

На тумбочке стоял магнитофон.

Вчера тумбочка была пустая, я смотрела на круглый след в пыли и думала, что тут стояло. Теперь на этом следу стояла старая «Электроника», серая, с двумя катушками и лохматым шнуром, свёрнутым восьмёркой. Правая катушка крутилась, плёнка наматывалась, и на каждой секунде щёлкало.

На этот магнитофон мама писала всю жизнь. Я знала его с детства, трогать боялась, и на нём же училась слышать разницу между двумя записями одного шума.

Я подошла и остановилась в полуметре. Вблизи щелчок был громче и яснее, и шёл он не от механики, механика в этих аппаратах шуршит. Этот щёлкал изнутри плёнки, с одинаковой паузой, чуть короче секунды, миллисекунд девятьсот.

Я протянула руку к кнопке «стоп». Палец лёг на пластик, холодный. И не нажал.

Пока щёлкало, голос молчал.

Я убрала палец и отошла на шаг. На правой катушке намоталось уже прилично, на левой оставалось больше половины.

Я села на край кровати. Матрас просел, пружина скрипнула ржаво, и скрип я услышала.

Потом сделала то, чего делать не стоило. Достала метроном, поставила на тумбочку рядом с магнитофоном и завела колесико.

Метроном щёлкал тише плёнки и чаще. Два щелчка пошли внахлёст, сближались, почти совпадали и снова расходились, и каждый раз, когда они сходились, у меня ныли зубы. Биения, разница частот, обычная физика. Эту физику я знала пятнадцать лет и всё равно сидела и слушала, как она меня выкручивает.

Метроном был мамин и мой, и я за него держалась.

Голос пришёл через кость поверх обоих щелчков.

Доченька. Мне так холодно. Я тут. Я жду.

Это она говорила мне в детстве, когда я не спала и приходила к ней под одеяло. Я тут. Я жду тебя.

Я встала, и две секунды ноги не слушались. Забрала метроном, вышла и закрыла за собой дверь.

Через дверь щелчок был слышен, тише, глуше, с обрезанными верхами.

* * *

На кухне я открыла кран, наклонилась и подставила ухо почти к самой струе.

Голос смолк.

Я стояла, согнувшись над мойкой, ухом в двадцати сантиметрах от воды, и вода гудела и била в эмаль, и в голове у меня было пусто и хорошо. Так продолжалось минут пять.

Потом струя дрогнула и стала тоньше, захлебнулась, плюнула воздухом и пошла с перебоями. Я закрутила и открыла снова. Вода дала несколько толчков и кончилась. В трубе оседало и стихало ещё секунды три, потом стихло и это.

Голос вернулся сразу, без разгона.

Анечка. Не молчи.

Я села на пол у мойки, спиной к тумбе, обхватила колени и заметила, что не слышу себя.

Я дышала. Грудная клетка ходила, воздух шёл через нос, я чувствовала его горлом, а звука не было. Вчера я слышала своё дыхание всю ночь и держалась за него на полу у двери.

Я задержала воздух и выдохнула через рот, резко, со всей силы. Ничего. Выдохнула ещё раз, в собственную ладонь, чтобы почувствовать поток. Поток был, тёплый, влажный, и беззвучный.

Со вчерашнего вечера у меня забрали крик, потом хвосты слов, потом сами слова, теперь дыхание. Оно ждало, пока я отзовусь, и пока я молчала, обходило меня по кругу и снимало по звуку за раз.

Я достала метроном и завела. Первый щелчок пришёл, тихий, латунный, на своём месте. Я держала его в горсти у самого уха и считала.

За дверью её комнаты щёлкала плёнка, и на левой катушке её оставалось меньше половины.

Глава 3. Овсяники

Утро среды я начала с того, что вышла на крыльцо и попробовала уехать.

Ключ повернулся, стартёр взял, мотор пошёл с полутычка. Я сидела в машине с работающим двигателем и слушала его ладонями через руль, ушами уже не могла. Мотор работал, и через двадцать минут я могла быть на трассе.

Я заглушила и вышла.

Объясняла я это себе потом долго. Документы не разобраны, счета не закрыты, тетради в кладовке я ещё не открывала. Всё это было правдой и ничего не решало. Решало другое: мама умерла в этом доме одна, а до этого тридцать лет звонила мне раз в две недели и говорила, что ей тут хорошо, и я ни разу не спросила почему. Теперь я приехала и услышала её голос в собственной челюсти.

Уехать я могла. Уехать значило не узнать.

* * *

В Овсяники я поехала в одиннадцать.

Через четыре километра от поляны в машину вернулся звук, точнее, я снова стала его слышать: гравий под днищем, свист в щели у стекла, работу мотора. Я встала на обочине и посидела с открытым окном минуты три, слушая ветер в берёзах.

Ветер был, и птицы были. Верхних частот у меня не было, и птицы шли обрубленными, без свиста, одними серединами, как через плохой телефон.

Не заплакала я только потому, что за рулём неудобно.

Деревня оказалась живая. Сорок с чем-то дворов, асфальт по центральной, столбы с проводами, три трактора у забора. На пятачке у магазина стояли машины и мотоцикл с коляской, двое мужиков, сняв сиденье, возились над коляской, а третий держал гаечный ключ и говорил им, как надо.

Магазин был обычный сельский: «Продукты», железная дверь, звонок над ней, холодильник с мороженым у входа.

Когда я вошла, у прилавка разговаривали три женщины и продавщица, про кого-то, у кого сын вернулся. Я взяла корзину и пошла вдоль полок, и слышала их плохо: женские голоса лежат высоко, у меня оттуда осталась половина, и я разбирала интонацию и не разбирала слов.

Набрала консервов, хлеба, чаю, спичек три пачки и свечей все, что были, шесть штук.

Продавщица посчитала и назвала сумму, я попросила повторить, она повторила громче, и я услышала.

– Вы извините, – сказала я. – У меня со слухом.

Она кивнула.

– С поляны? – спросила одна из женщин у меня за спиной.

Разговор в магазине просел наполовину. Слова шли те же, только реже и тише, и все три женщины повернулись ко мне. Одна лет пятидесяти, две постарше. Лица вежливые и пустые, и от этой пустоты мне стало неуютно.

– Оттуда, – сказала я. – Я Верина дочь.

– Аня, – сказала та, что спрашивала. – Мы знаем.

Она помолчала.

– Соболезнуем.

Продавщица положила мне сдачу и отвернулась к полке с сигаретами.

Я вышла с двумя пакетами. Мужики у крыльца замолчали, когда я проходила мимо, и заговорили снова, когда я отошла на десять шагов, и это я разобрала отчётливо: мужские голоса низкие, у меня они целые.

Пакеты я поставила в багажник и задержалась у машины. В горле жгло от обиды, и я думала, что деревня есть деревня, я тут чужая, и маму они, наверное, тоже сторонились.

Потом подняла глаза и увидела, что через дорогу ко мне идёт старуха.

* * *

Шла она медленно и прямо, опираясь на палку и все двадцать метров глядя мне в лицо. Маленькая, сухая, в платке, в тёплой кофте по июньской жаре. Дошла и встала передо мной.

– Ты Верина, – сказала она.

Голос у неё был низкий, прокуренный, старушечий, я слышала его целиком, и от этого сразу стало легче.

– Да.

– Я Гунько Мария Степановна. Мать твоя ко мне ходила. Двадцать девять лет.

Я не нашлась, что ответить, и сказала:

– Я не знала.

– Она много про кого не рассказывала.

Она смотрела на меня снизу вверх, и глаза у неё были ясные.

– Ты в дом вернёшься?

– Да. Мне вещи разобрать.

– Ну и разбирай, – сказала она. – Только слушай сюда, я один раз скажу. Печку не топи.

Мне показалось, что я ослышалась.

– Простите?

– Печ-ку не то-пи, – повторила она по слогам, глядя мне в рот. – Ни печку, ни плитку. И костёр во дворе тоже. Свет вечером не жги. Мотор в машине заводи и сразу поезжай, во дворе с ним не сиди.

– Мария Степановна…

– И не аукай.

Я стояла у багажника с ключами в руке и не понимала, как на это отвечать взрослому человеку.

– Что значит не аукай?

– Не кричи. Не пой. Не зови никого. Если тебя оттуда позовут, ты не отзывайся.

– Кто позовёт?

Она пожевала губами.

– Мать, кто ж ещё.

Руки у меня похолодели. Испугаться я ещё не успела, холодом взяло от того, как буднично она это сказала, тем тоном, каким говорят про дождь к вечеру.

– Мария Степановна, а вы откуда…

– Оттуда, – сказала она. – У меня там брат.

Рассказала она мне это минуты за четыре, на солнцепёке у моего багажника, и ни разу не сбилась. Пока она говорила, я её разглядывала, потому что смотреть было легче, чем слушать.

Девяносто два ей было видно по рукам: кисти стали короче, пальцы ушли в стороны, правая всё время лежала на палке, а левая держала пустую авоську, сложенную вчетверо, хотя из магазина она уже вышла. Платок повязан под подбородком туго, лоб открыт, и по лбу шли три поперечные складки, глубокие, будто процарапанные. Шея тонкая, вся из жил. Глаза за весь разговор ни разу не ушли в сторону, и это давило сильнее, чем всё остальное: кто врёт или сочиняет, тот обязательно куда-нибудь смотрит.

Асфальт под нами держал утреннее солнце и отдавал его вверх, мне пекло затылок. Ей, в тёмной кофте и платке, должно было быть вдвое жарче, а она не шевелилась.

Брат Пётр, объездчик. Поселили его с семьёй в шестьдесят первом в дом на поляне. Первое время он ходил к ней в Овсяники и жаловался, что в доме тихо.

– Он говорил: у меня, Маш, радио играет, а я его не слышу. Я, говорит, приёмник в руки беру, а он играет.

Я слушала.

– Я говорю, к врачу иди. А он: у меня жена не слышит и дети не слышат. Мы, говорит, вчетвером не слышим одно и то же. Он у меня в тот раз ночевал. Ночью встал и в сени вышел. Я слышу, он в сенях разговаривает.

Она подняла на меня глаза.

– Утром спрашиваю: ты с кем говорил? А он мне: с мамой. А мать наша к тому году девять лет как лежала.

Дальше она молчала долго. Собиралась, и я видела, что говорит она это вслух, может, второй раз в жизни.

– Я его перекрестила и в дом больше не пустила.

Авоська в левой руке опустилась и снова поднялась.

– И вся моя вина в том, что не пустила. Он к себе пошёл, и через месяц его не стало.

Мимо нас проехал мотоцикл с коляской, мужик за рулём поднял ей руку, и она подняла в ответ, не глядя, одними пальцами на палке. Шестьдесят с лишним лет она носила это в себе, здоровалась с соседями, покупала хлеб, и по деревне не было похоже, чтобы хоть кто-то знал.

– А жена его?

– Жена ещё два года прожила там, с детьми. В шестьдесят четвёртом все трое. Искали три недели, лес прочесали. Ничего.

Я сглотнула.

– И вы всё это знали и никому…

– Кому? – сказала она.

Я перебрала в голове, кому. Участковому. В район, где эту бумагу подошьют к другим. В газету. В интернет, которого у неё нет.

Никому.

Я спросила, всё ещё держась за версию, где это деревенское суеверие:

– Мария Степановна, а почему нельзя топить? Что от печки-то?

Она посмотрела на меня, как на человека, который спрашивает, почему нельзя совать руку в станок.

– Тёплое оно находит, – сказала она. – Оно ничего не видит и не слышит. Оно только тёплое находит. А на шум просыпается.

– На шум просыпается, а находит по теплу, – повторила я, услышала, как это звучит из моего рта, и мне стало неловко.

– Ты умная, – сказала она без всякой издёвки. – Запомнила. Хорошо.

Ещё один вопрос я задала из чистого упрямства:

– А если я дров наколю? Там колода стоит и топор. Это же шум.

Она даже не задумалась.

– Коли. Только в такт коли. Оно ладного не слышит.

– Как это ладного?

– Ну ладного. Мерного. Часы вон идут, оно их не слышит. А ты уронишь чашку, и оно тут.

Я кивала и решила, что это уже совсем бабкино: нечистая любит непорядок, а под ладную работу с молитвой не приходит. И толком не запомнила.

Она повернулась и пошла обратно через дорогу. На середине остановилась и сказала, не оборачиваясь:

– Мать твоя двадцать девять лет не топила. Я ей валенки вязала.

И пошла дальше.

До меня доходило по частям. Двадцать девять зим в бревенчатом доме на поляне, где нет соседей, нет магазина и некому заглянуть и увидеть, что человек живёт в холоде. Валенки в доме, сон одетой, вода, нагретая только чтобы выпить, и только до того, чтобы не обжечься.

Я вспомнила её руки на похоронах: пальцы узловатые, суставы вывернутые, и я тогда подумала, что артрит, возраст, деревня.

* * *

На кладбище я поехала потому, что сразу сесть за руль не могла.

Оно стояло на выезде из Овсяников, на бугре, за железной оградой, с калиткой на проволочной закрутке. Мамину могилу я нашла быстро: свежая земля, ещё горбом, венок с ленточкой, деревянный крест с табличкой, которую я сама заказывала по телефону из Москвы.

На холмике лежали цветы, полевые, перевязанные белой ниткой, свежие, положенные день или два назад.

Я цветов не привозила. Лёша не приезжал ни разу. Кто-то в этой деревне поднялся на бугор и положил их, и кто, я не знала.

Я присела и поправила венок: его повело набок, и лента «Маме от детей» легла надписью вниз. Ленту я заказывала сама, вместе с крестом, и Лёша потом перевёл мне половину с подписью «за венок». На бугре тянул ветер, ленту всё время заворачивало, и я придавила её край камнем.

Земля на холмике осела с одного бока и пошла трещиной вдоль, на ладонь глубиной. Свежие могилы к сороковому дню садятся, это я знала и всё равно минуту смотрела в эту трещину, не отводя глаз. Потом пригребла землю руками с краёв, примяла и вытерла ладони о траву.

Слева от мамы лежал дед. Кравцов Иван Тимофеевич, 1926–1996, железная пирамидка со звездой, крашенная серебрянкой, оградка на две могилы. Она приехала к нему в девяносто третьем, похоронила его в девяносто шестом и прожила здесь ещё двадцать восемь лет, и место рядом с ним держала все эти годы.

Дальше по ряду шли Гунько. Их было много: деревня в сорок дворов, а фамилий в ней, наверное, восемь. Я шла вдоль и читала, остановиться уже не могла, и на третьей могиле от края встала.

Это была плита без холмика, серый лежачий бетон в лишайнике, и на нём выбито три строчки.

«Гунько Анна Ивановна, 1932–1964.

Гунько Валентина Петровна, 1957–1964.

Гунько Николай Петрович, 1960–1964».

И ниже, мельче:

«Пропали без вести».

Под плитой никого не было, там так и написано. Кто-то в шестьдесят четвёртом заказал бетон, выбил на нём три имени и положил на пустую землю, чтобы было куда ходить. Женщина тридцати двух лет и двое детей, семи и четырёх.

Над этой плитой я простояла минут пять. Обратно к калитке шла, глядя под ноги, и у самого выхода, справа, увидела ещё одну оградку.

Одна могила и пустая половина. На могиле «Гунько Степан Матвеевич, 1901–1953». На пустой половине, у самой оградки, стояла лавочка, крашенная той же серебрянкой, и на лавочке лежал сложенный кусок клеёнки, чтобы не мокло.

Место было приготовлено давно и держалось в порядке. Я решила, что это чья-то жена ждёт своей очереди.

Обратно я ехала и разговаривала сама с собой вслух, иначе не выдержала бы.

– Так, – говорила я. – Старухе девяносто с чем-то. Брат пропал в шестьдесят втором, шестьдесят с лишним лет назад. Она с этим живёт всю жизнь и построила себе систему, чтобы это хоть как-то называлось.

Гравий шуршал под днищем.

– Дальше. У мамы был какой-то дефект слуха, наследственный, вероятно. У меня, судя по всему, тот же. Люди с потерей слуха слышат фантомные звуки, это медицинский факт, слуховые галлюцинации.

Я вцепилась в руль.

– И вчера я видела в стене шланг.

* * *

Там, где кончаются птицы, я остановилась.

Место я знала с понедельника: четыре километра не доезжая поляны, на подъёме, где грунтовка выходит из ельника в редкий березняк. До него я слышала лес, за ним не слышала.

Я вылезла в половине третьего, при полном солнце, и пошла искать границу пешком. Нашла минут за семь, и граница оказалась узкая. Я шла по обочине и слушала, и на каком-то шаге верхняя половина леса выключилась. Два шага назад: есть. Два вперёд: нет. Вся неопределённость уложилась в полтора метра.

Туман или рассеяние размазывают звук на десятки метров. Здесь был край.

Я нашла на обочине палку и воткнула её в эту точку. Потом пошла вдоль, забирая в лес, и через каждые двадцать шагов проверяла себя и поправлялась. Минут через сорок вышла к дороге снова, метрах в двухстах выше палки: грунтовка петляла тут по склону, и граница пересекала её второй раз.

Я стояла посреди дороги, вспотевшая, с исцарапанными руками, и прикидывала в голове линию, которую только что прошла. Она выпирала и вдавливалась, как пятно сырости на потолке, но шла дугой, и выгибалась эта дуга от поляны. Если её продолжить, центр приходился туда, где стоял мамин дом.

Я вернулась к палке. С живой стороны было нормальное июньское лето: гудели слепни, стрекотало что-то в траве, наверху стучал дятел, ветер шёл по верхушкам с шелестом. С мёртвой шёл только ветер, низкий и ватный, из-под подушки.

Обе стороны я слышала одновременно, стоя одной ногой в каждой. И решила проверить сама.

Я отошла на десять шагов в живую сторону и топнула. Кроссовка по сухой земле даёт короткий сухой удар, и он у меня был. Хлопнула в ладоши, был. Подняла два камня и стукнула друг о друга, был, звонкий, обрубленный сверху, но был.

Потом перешла черту и сделала то же самое.

Топнула. Ничего. Решила, что дело в почве, и топнула ещё три раза, всей стопой, почувствовала удар в колене и не услышала его. Хлопнула у самого лица, правую ладонь обожгло, и тишина. Стукнула камнями, видела, как они сходятся и как с них летит крошка, и тишина.

Я стояла на границе с двумя камнями в руках и стучала то по одну сторону палки, то по другую. Есть, нет, есть, нет, раз двадцать, наверное, и расстояние между «есть» и «нет» было шага полтора.

До того, что надо было сделать сразу, я додумалась только на двадцатый заход. Перешла черту и вдохнула.

За чертой пахло лесом: хвоей, прелым листом, разогретой на солнце смолой. Я проверила по-честному. Сорвала пучок хвои с живой стороны, растёрла в пальцах, поднесла к лицу. Перешла черту, сорвала с мёртвой, растёрла, поднесла. Одинаково, до последней ноты.

Я стояла в мёртвой стороне, набирала полную грудь и не находила ни одного отличия, и от этого у меня похолодело в животе сильнее, чем от тишины. Глохни я сама, я глохла бы везде, ухо не выключается по линии в лесу. Нос с обеих сторон работал одинаково, глаза тоже.

Слепни висели над обочиной с живой стороны, долетали до черты и разворачивались. Ни один не залетел.

Значит, дело было в самом воздухе: в нём кто-то отключил один канал и не тронул остальные.

Я записала это на обороте чека из магазина, стоя на коленях и прижав бумажку к колену: «Слух отдельно. Запах, зрение целы. Значит, это не я».

Дальше я сделала глупость, и хорошо, что она обошлась. Прошла в мёртвую сторону метров тридцать, посмотреть.

Обыкновенный лес, живой, зелёный, с подростом, с папоротником, с солнечными пятнами на земле. Только прибранный. Минуты две я ходила и смотрела под ноги, пока до меня не дошло, что смущает. Ни одного муравейника. Ни паутины между веток, ни жука на стволе, ни мухи в воздухе, ни птичьего помёта на прошлогодних листьях. Подстилка лежала нетронутыми слоями, и за тридцать метров я не увидела ни одного живого существа мельче себя.

Я побежала обратно к палке. Это я помню отчётливо: бежала и ждала, когда включатся мои шаги, и мне очень важно было их услышать.

Они включились.

Я вылетела в живую сторону, села на обочину и минут пятнадцать слушала слепней и радовалась им, как людям.

Палку я там и оставила.

* * *

Дома я разобрала пакеты и стала искать, на чём вскипятить воду.

Электричества в доме не было, это я выяснила в первый же вечер, когда щёлкнула выключателем и пришлось зажигать мамину керосинку. Щиток на стене, автоматы выключены, и от щитка к столбу не шло ничего: провода со столба сняты, на изоляторах висели одни огрызки. Я решила, что мама не платила и её отрезали.

Плитка стояла в сенях под мешковиной, со шнуром, обрезанным у самого корпуса. Я посмотрела на этот обрезанный шнур и поставила плитку обратно.

Оставалась печка.

* * *

Растопила я её в семь вечера. Дрова лежали в сенях, сухие, берёзовые, по виду лет пятнадцать как сложенные. Заслонку я нашла, тягу открыла, растопку сделала из газеты, и огонь пошёл сразу.

Я сидела на корточках перед открытой дверцей, и на лицо шёл жар, и это было первое живое ощущение за трое суток. К девяти дом прогрелся, к десяти я впервые с понедельника стянула куртку.

Голос пришёл в одиннадцать сорок и был другой. Громкости в нём не прибавилось, он стал ближе. Раньше он приходил из-под коренных и поднимался вверх, просачивался. Теперь он лежал сразу везде: в челюсти, в висках, в затылке, в ключицах.

Доченька. Как хорошо-то у тебя.

Я сидела на кухне у тёплой печки, с чашкой в руках, в одной футболке.

Как хорошо, тепло. Я тридцать лет так не сидела.

Отвечать я не стала. Поставила чашку, встала и пошла закрывать заслонку, и рука не попала с первого раза.

Ты не бойся. Ты сиди. Я просто рядом посижу.

Заслонка пошла, тяга кончилась. Я открыла обе форточки и дверь в сени, встала в проёме и гнала из дома тепло полотенцем, будто дым.

Печка отдавала часа три.

Из кухни в коридор в ту ночь вышло семь отростков. Я считала. Они выходили из-под плинтуса по одному, минут через десять каждый, и ложились по полу веером к печке. Ко мне не повернулся ни один.

Я стояла в сенях, в куртке, на сквозняке, смотрела на них через открытую дверь, а они лежали на тёплом полу и ко мне не двигались. На сквозняке я была холоднее всего в доме.

К четырём утра печь остыла. К пяти они ушли.

* * *

Утром на полу кухни, перед печной дверцей, я нашла тёмное пятно в метр диаметром. Линолеум под ним был чистый, без пыли, вылизанный до рисунка. Вчера на этом месте я сидела на корточках перед открытым огнём.

Я подошла к печке и положила ладонь на побелённый бок. Кирпич был комнатной температуры.

Русская печь после нормальной топки держит тепло часов шестнадцать, это знает всякий, кто хоть раз в такой избе зимовал: отдаёт всю ночь и к обеду ещё тёплая. Эта остыла за четыре часа.

Я открыла дверцу. Угли лежали в поду серой горкой. Я разгребла их кочергой и запустила туда руку, потому что надо было знать наверняка. Зола была холодная насквозь, до самого низа, ни одной искры. Берёзовые угли под слоем золы держат жар до полудня следующего дня. Эти были холодные, как в кострище, залитом дождём.

Я села на пол в куртке, в холодном доме, и на полях старой газеты записала своим почерком первую строчку:

«Не топить. Не греться. Проверено».

А ниже, подумав, дописала:

«Она сказала правду. Значит, и остальное правда».

Глава 4. Как не мёрзнуть

Холодно в доме стало к полудню четверга.

Холод был другой, чем в нетопленом доме летом. За окном стояло плюс двадцать четыре, я видела градусник на раме, а в комнатах держалось четырнадцать, весь день, без колебаний.

Я обошла дом, ведя ладонью по стенам. Брёвна изнутри были холодные, печка холодная, пол холодный. Стёкла изнутри холоднее, чем снаружи, и на кухонном к обеду наросла испарина.

Дом отдавал тепло вниз.

* * *

Мёрзнуть я не умела. Тридцать четыре года я прожила там, где батарея, кондиционер и чайник, и холод для меня был тем, что случается на улице между машиной и подъездом.

Первый час я ходила и злилась, второй ходила и растирала руки. К третьему стало ясно, что это надолго, и я села разбираться, как разбираются те, кто умеет.

Мама умела.

Я открыла её шкаф целиком. Раньше я лазила туда один раз, за жестянкой с документами, и ничего не увидела. Теперь увидела.

Восемь свитеров. Четыре пары рейтуз. Шесть пар шерстяных носков, все домашней вязки, все растянутые в пятке. Две ватные телогрейки, женская и мужская, мужская велика ей на два размера, и в кармане у неё лежал носовой платок с чужими инициалами. На нижней полке три пары валенок, все ношеные, все подшитые кожей по низу.

Всё это в июне.

Я оделась в её вещи. Рейтузы под джинсы, два свитера, поверх свою куртку, шерстяные носки в два слоя. Валенки надевать не стала. На голову платок, через голову уходит четверть тепла.

Стало терпимо.

Посреди кухни в маминой одежде и в её платке я принюхалась: пахло нафталином и ещё чем-то, и это второе я долго не могла опознать, пока не сообразила. Разогревающей мазью для суставов. Мама пахла ею последние лет десять, и я думала, что это старость.

В кармане мужской телогрейки, кроме платка, лежала бумажка, сложенная вчетверо, затёртая на сгибах до дыр, из тех, что носят годами и достают часто. Я развернула её на кухонном столе и разгладила ладонью.

Сверху печатными буквами стояло:

«ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ОТОЗВАЛАСЬ».

Дальше шли пункты, крупно, чтобы читать без очков.

«1. Не реви. От рёва теплеешь.

2. Сядь и проверь, что ушло. Сразу, пока помнишь, как было.

3. Запиши в тетрадь. Число, время, сколько слов сказала.

4. Три дня не отвечай ни разу. Совсем. Даже мычать нельзя.

5. На третий день отпустит и станет легче.

6. Если на третий день не легче, значит, ты сказала больше, чем думаешь. Считай заново».

Внизу, другим карандашом и, судя по нажиму, в другой год, было приписано:

«7. Не обещай себе, что это в последний раз. Не надо».

Я держала бумажку двумя руками. Лист в клетку, вырванный из тетради неаккуратно, с бахромой по левому краю, пожелтевший пятнами там, где долго лежал у тела. В двух местах дыры на сгибах были заклеены с изнанки полосками скотча, и скотч успел состариться и отойти по краям: бумажке дали протереться, потом починили и носили дальше.

Я посчитала сгибы. Три поперёк и один вдоль, и продольный самый глубокий, по нему лист почти разошёлся надвое. Чтобы протереть тетрадный лист по сгибу до дыры, его надо сложить и разложить тысячу раз, может, две.

Это была инструкция по обращению с собой, и писал её человек, который знал, что сорвётся снова. Седьмой пункт она дописала потом, другим карандашом, когда перестала себе врать. Ей тогда было, наверное, немногим больше, чем мне сейчас.

Я сложила бумажку по тем же сгибам, стараясь попасть точно в них, и положила в свой карман.

Есть мне захотелось к обеду, впервые с понедельника по-настоящему, и я полезла в шкафчик над кухонным столом, где у мамы стояли банки.

Стояли они рядами, литровые и пол-литровые, под капроновыми крышками, и на каждой была полоска лейкопластыря с надписью шариковой ручкой: «Гречка 09.23», «Соль», «Сахар, не трогать до зимы», «Чай». Половина была пустая и вымытая, их держали впрок. В дальнем углу, за солью, стояла отдельная, трёхлитровая, полная на две трети, и на пластыре было написано: «Ане. На пирог».

Внутри лежали сушёные яблочные дольки, тёмные, мелкие, от мелких яблок. Я сняла крышку, и из банки пошёл запах, первый живой запах в этом доме после глины у люка: кисловатый, сладкий, с кожурой. Она нарезала их осенью, сушила, наверное, на солнце, на крыше сарая, ссыпала в банку и подписала, на какой пирог. На тот, на который я так и не приехала.

Горсть я съела стоя, прямо из банки. Дольки были жёсткие, их надо было держать во рту, пока не отойдут, и я держала и жевала, и от кислого сводило скулы, и это было единственное за день, что я сделала без всякого расчёта.

Банку я поставила обратно за соль и закрыла шкафчик. Потом открыла снова и взяла ещё горсть в карман куртки.

* * *

С колодцем я в тот же день разобралась окончательно.

Он стоял за домом, метрах в двадцати, с воротом и крышкой. Я сняла крышку и посветила телефоном.

Воды не было. Метрах в трёх от края торчали брёвна сруба, а ниже шёл завал: земля, доски, что-то белёсое, всё вбитое в шахту плотно, пробкой. Я опустила ведро, и оно встало на этом завале на глубине метров четырёх.

Завалившийся сруб уходит внутрь кусками, с провалами и перекосом. Здесь перекоса не было. Пробка стояла плоско, поперёк всей шахты, край её шёл по кругу, и вдавлена она была сверху вниз.

Я закрыла крышку, придавила кирпичом, и пить дальше пришлось из дождевой бочки у сарая.

До обеда я обошла дом снаружи. Надо было понять, куда уходит тепло, и я взялась за это как за работу: если снаружи плюс двадцать четыре, а в доме четырнадцать, значит, где-то дыра.

Фундамент был бутовый, на растворе, с продухами. Продухов шесть, по три с длинных сторон, прямоугольные, двадцать на тридцать, ничем не закрытые. Я присела у первого и подставила ладонь.

Оттуда шло тепло. Медленный воздух, без напора, с тем же сладковатым запахом, что стоял в сенях у люка. Я проверила все шесть, из всех шло одинаково, и это было неправильно вдвойне: подполье летом холоднее улицы, оттуда должно тянуть погребом.

Дом выдыхал тёплое наружу.

Трава вокруг фундамента лежала полосой в две ладони шириной, жёлтая, сухая, и полоса шла по всему периметру, повторяя обвод дома в точности. Я обошла его дважды и нашла одно место, где полоса шире: у восточного угла она отходила от стены метра на полтора и кончалась там овалом, будто на этом месте что-то стояло. Я померила шагами и записала.

* * *

Трещину я осмотрела после обеда, ту самую, в маминой комнате, из которой в понедельник ночью вышел отросток и замер в сантиметре от моего лица.

При дневном свете это была обыкновенная щель в бревенчатой стене: сруб сел, конопатка вылезла, между венцами зазор. Такие есть в любом старом доме.

Я померила её штангенциркулем. Он лежал в машине в наборе, я возила его для работы и в жизни не думала, что буду мерить им стену.

Четыре и шесть.

На косяке я записала карандашом «чт 13:40, 4,6» и поставила рядом чёрточку, чтобы мерить каждый раз в одном месте. Для контроля померила ещё три щели. Кухня у окна, три и один. Коридор над плинтусом, два и восемь. Сени, одна и девять.

Вечером померила всё заново. Кухня три и один, коридор два и восемь, сени одна и девять. Комната пять и четыре.

Восемь десятых за шесть часов.

Я трижды переставляла губки и пересчитывала. Сруб не расходится на восемь десятых миллиметра за полдня, он садится годами, по миллиметру в десятилетие, и садится весь, а не одной щелью из четырёх.

Расходилась только эта. Та, из которой оно ко мне выходило.

* * *

В промежутках я вынесла на крыльцо коробки с посудой и разбирала их там, потому что снаружи было плюс двадцать четыре и солнце меня грело.

Из этого получилась система. Утро в доме, два часа на крыльце на солнце, потом снова в дом. Мама делала так же, и в тетрадях я это вскоре нашла: «14.06.11. Грелась снаружи 11:00–13:30. Внутри с 13:40. Нормально».

Она грелась снаружи и вела этому учёт.

Тетради я вынесла на крыльцо и читала на солнце, три штуки за первые годы, чтобы понять, как они устроены.

Устроены они были просто, и от этой простоты делалось страшно. На каждый день одна строка: дата, время, когда пришёл голос, отвечала или нет. Отдельной графой источники, что работало и что кончилось. И третья графа, которую я поняла не сразу, «Т» с цифрой. «Т 14», «Т 13», «Т 15».

Температура в доме. Она мерила её каждый день и записывала.

Летом стояло тринадцать-пятнадцать. Я пролистала до января девяносто пятого и нашла: «Т 4». Потом «Т 3». Потом, шестого января, «Т 1, вода в ведре с коркой».

В доме, в январе, в валенках и двух телогрейках, при плюс одном градусе, и дневник карандашом, ручки в таком холоде пишут через раз.

Я сидела на крыльце на солнце, в её свитерах, и руки у меня тряслись уже не от холода.

* * *

К вечеру я нашла в тетрадях то, что занимало меня тогда больше всего.

«08.09.96. Проверила. Оно идёт на тёплое, но не сразу. Сначала долго на месте. Просыпается от звука, потом ищет».

«09.09. Хлеб кончился. Ноги гудят».

«10.09. Ходила в Овсяники на почту, дозвонилась домой, Лёшка снял трубку, голос хороший.

Ещё раз с керосинкой. Ставила в дальней, сама в сенях. Пришло к керосинке. Значит, ищет тёплое, а не живое».

Дальше две страницы шли про огород и про то, что у Маши окотилась кошка. Потом опять.

«14.09. Если тихо, оно спит и на тёплое не идёт. Керосинка горела всю ночь, я молчала, не пришло. Проверить ещё, а то мало ли».

«16.09.

17.09.

18.09. Дождь третий день».

«19.09. Подтверждаю. Сначала звук, потом тепло. Одно без другого не работает».

Эти строки я перечитала раза четыре, вышла к перилам и держалась за них, пока не перестало трясти.

А через страницу она сама себя опровергла.

«22.09. Не сходится.

Вчера полдня колола дрова у сарая. Стук на всю поляну. Ничего.

А позавчера уронила таз и вскрикнула один раз, и оно пришло.

Тут дело не в громкости».

Дальше почерк менялся, она писала мельче и злее, это было видно.

«23.09. Всё утро думала. Ерунда получается».

«24.09. Ничего не понимаю».

«25.09. С топором. Била в чурбак мерно, считала до ста восьмидесяти. Тихо.

Потом нарочно сбилась. Два удара быстро, пауза, опять.

Пришло минуты через полторы. Замеряла по ходикам».

«26.09. Сегодня не проверяла. Страшно».

«27.09. Тоже нет».

«28.09. Ещё раз, чтобы наверняка. Всё так же.

Мерный стук оно не берёт. Держит за тишину.

Оно слышит перебой».

Я сидела на крыльце с тетрадью на коленях до темноты. Потом взяла карандаш и написала на полях газеты, крупно, чтобы висело перед глазами:

«ЗВУК БУДИТ. ТЕПЛО НАХОДИТ.

ШУМЕТЬ МОЖНО, ЕСЛИ ХОЛОДНАЯ.

ГРЕТЬСЯ МОЖНО, ЕСЛИ ТИХО.

ВМЕСТЕ НЕЛЬЗЯ».

А ниже, отдельно, печатными:

«МЕРНОЕ ОНО НЕ СЛЫШИТ.

ОНО СЛЫШИТ СБОЙ.

БОЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ. СЧИТАТЬ».

Газету я приколола кнопкой к косяку и сказала в пустую кухню, потому что от собственного голоса легче:

– Ну вот. Теперь у меня есть инструкция.

* * *

Голоса я не слышала весь четверг, первый день с понедельника. Я не топила, не грелась, почти не говорила вслух, и оно спало.

К одиннадцати вечера мне стало почти спокойно, и от этого спокойствия сразу сделалось неуютно.

Я легла на её кровать в двух свитерах и в куртке, под двумя одеялами. Матрас был ледяной и за полчаса не нагрелся, и я лежала, поджав ноги, и ждала, пока согреется хотя бы место под коленями.

Заснула я в первом часу.

* * *

Проснулась я в сенях, на полу, у самого люка, сидя спиной к стене.

Первое, что я поняла, было хорошее. Мне было тепло, по-настоящему, впервые за сутки, от груди до колен, полно и без провалов, так, что не хотелось двигаться. Секунды три я сидела в этом тепле и была счастлива. Потом посмотрела на себя.

На мне было четыре её свитера, обе телогрейки, женская снизу, мужская поверх, валенки и платок, повязанный под подбородком. Сверху я была укутана ватным одеялом с антресоли, которое вчера не доставала.

Я оделась во сне. Вставала, ходила по дому, лазила со стула на антресоль, надевала четыре свитера в правильном порядке, завязывала платок. И пришла со всем этим в сени, к люку.

Горло саднило, я поняла это, когда сглотнула: изнутри драло по всей длине, от корня языка до ямки между ключицами, сухим наждаком, какой бывал после смены на площадке.

Я говорила, и говорила долго.

Я потрогала губы. Изнутри, справа, они были искусаны в мясо.

Оба нарушения разом: во сне я грелась и во сне говорила, и второе было хуже первого, потому что говорила я не в потолок. Я сидела в полуметре от люка, и люк был приоткрыт на ладонь, на ту же ладонь, что входная дверь в понедельник, когда я приехала. Половик лежал отброшенный в сторону, и на нём отпечатался мой валенок.

Как я его открывала, я не помню. Не помню вообще ничего, кроме того, что мне снился длинный спокойный разговор, из которого я не вынесла ни одного слова, и что во сне мне было хорошо и просыпаться не хотелось.

* * *

Проверять слух я начала сразу, и храбрость тут была ни при чём: руки тряслись, и их надо было чем-то занять.

Я взяла со стола ложку и стукнула по стакану. Тихо. Стукнула сильнее и услышала звук, и звук был неправильный. Стакан отозвался серединой, тем «тум», какое даёт стекло, если стучать по нему через тряпку. Стеклянной иголки, которая уходит вверх и висит там секунду, не было вообще. Я стукнула третий раз и держала ложку в воздухе, считала. На «два» звук должен был ещё жить. Он кончился на «раз».

Тогда я провела по стакану ногтем. Ноготь по стеклу даёт тонкий сухой щелчок, и самая острая его часть лежит выше десяти килогерц. Это первое, что проверяют, когда сдают мониторы, и я делала это тысячу раз, в чужих студиях, на приёмке, при заказчике, чтобы понять, врёт ли верх.

Щелчок пришёл тупой, обрезанный, без иглы.

Я провела ещё раз, вдавливая ноготь так, что заболел палец. Я видела, как он идёт по стеклу, и чувствовала вибрацию подушечкой, и верха не было.

Потрясла у самого уха ключами, задевая мочку. Звон ключей весь сидит наверху, и от него не осталось ничего, только глухое шебуршание металла.

Я подошла к окну, открыла форточку и высунула голову.

Было утро, начало шестого, серое и светлое. Там был лес. В четырёх километрах отсюда в нём пели птицы, в среду я слышала их с обочины, обрубленными, но слышала. Сейчас за форточкой шёл ветер в листве, и я его различала, низкий, ватный, из-под подушки. Свиста не было, шелеста не было.

Верхняя часть мира выключилась за одну ночь, и момента я не заметила. Я спала и разговаривала.

* * *

Дальше я села и сделала свою работу.

В телефоне у меня, как у любого из наших, стояли анализатор спектра, шумомер и генератор сигналов, и генератору интернет не нужен. В багажнике лежали рабочие наушники, накладные, закрытые, я возила их четыре года и ни разу оттуда не доставала. В семь утра я сходила за ними по росе, в четырёх свитерах.

Аудиометрию делают на калиброванном оборудовании, в тихой камере, с врачом за стеклом. Я делала её на кухне, в валенках, с телефоном и наушниками из багажника, и для документа это не годилось. Абсолютные цифры мне были не нужны, нужно было место обрыва.

Я надела наушники и стала гнать синус, поднимая частоту от ста герц малыми шагами при одной и той же громкости.

Сто, гудит в голове. Двести. Пятьсот. Тысяча, тонко, но есть. Две тысячи. Четыре. Восемь, есть, ясно.

Десять тысяч. Тишина.

Я решила, что промахнулась пальцем, и вернулась на девять с половиной. Есть, слабо. Девять восемьсот. Ничего.

Этот участок я прошла восемь раз, вверх и вниз. Обрыв стоял между девятью восемьюстами и десятью тысячами и не сдвигался. Ниже я слышала всё. Выше не слышала ничего до самого верха шкалы, до шестнадцати килогерц, где и здоровому человеку моих лет слышно через раз.

Я сняла наушники и посидела.

Такой картины не бывает. Аудиограмм я видела десятки: у нас их сдают все, у нас это профболезнь. Слух проваливается ямой на четырёх килогерцах, если ты стоял у пушек, сползает с верхнего края, если тебе за пятьдесят, идёт зубцами при баротравме. Отвесно он не обрывается никогда.

Я нарисовала свою кривую на полях той же газеты, под инструкцией. Прямая по нулю до девяти восьмисот, отвесно вниз, прямая по низу до конца. Ступенька, чистая, как на схеме фильтра.

Вокруг этого слова я ходила долго и наконец его написала. Фильтр. То, что со мной сделали ночью, у нас называется «срезать сверху»: ставишь частоту среза, всё, что выше, убираешь, а ниже остаётся нетронутым.

От этой мысли мне впервые за четыре дня стало плохо физически, до тошноты. Болезни так не работают. Улитка устроена длинной, соседнее в ней связано с соседним, и никакая мыслимая патология не даст границу шириной в двести герц.

Границу шириной в двести герц даёт настройка. Кто-то повернул ручку.

* * *

В маминой тетради за девяносто седьмой год я нашла это к обеду. Она описывала то же самое своими словами, потому что слова «частоты» не знала.

«07.02.97. Сверчков больше не слышу. Проверяла у Маши в доме, у неё за печкой всю зиму сверчок. Она слышит, я нет».

Через полстраницы:

«Считаю так. Каждый раз, как отвечу, кусок звука уходит. Не весь, а сверху вниз, слоями. Сначала самое тонкое».

И ниже, отдельной строкой:

«Значит, надо считать, сколько ещё слоёв».

Я села на пол в кладовке, среди её тетрадей, в её четырёх свитерах, и стала считать слои. Верхние ушли. Ниже женские и детские голоса. Ещё ниже согласные, вся разборчивость речи. Ещё ниже низы, свой шаг, гул, сердце.

Четыре слоя. Четыре раза.

Я дописала на газете, под инструкцией, вторую строчку:

«ОСТАЛОСЬ 4».

Потом долго сидела и разглядывала эту надпись.

К вечеру в доме стало пахнуть по-другому, и это я заметила раньше, чем поняла. Утром сени пахли пылью и старым деревом. Сейчас поверх пыли лежало тёплое и сладковатое, сла-

бое, на пределе, и приходило волнами, когда открывали дверь. Раньше, входя в комнату, я её слушала. Сегодня я вошла и сперва понюхала, ещё до того, как хлопнуть.

* * *

К вечеру я сделала то, чего не делала с понедельника: вышла на крыльцо, села на ступеньку и посидела на закатном солнце просто так, ничего не разбирая.

От нагретых за день досок шло тепло снизу, я подставила лицо, и минут пять мне было хорошо. Потом солнце пошло за лес, и я поднялась и ушла в дом, пока тепло от досок не ушло вниз, в землю.

В дверях я обернулась. Трава на поляне между крыльцом и машиной стояла, как все четыре дня, кроме одной полосы шириной в мою ладонь. Полоса шла от угла дома к тому месту, где я только что сидела.

Обрывалась она в полуметре от ступеньки.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.